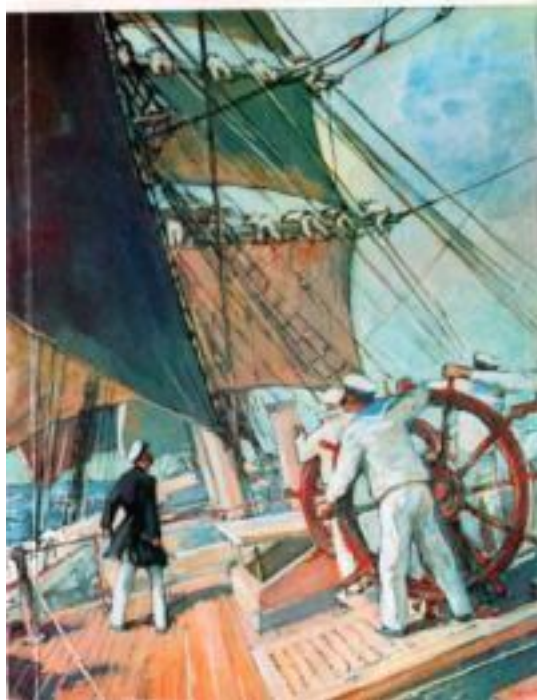


К.М.Станюкович

МОРСКИЕ РАССКАЗЫ



Константин Михайлович Станюкович
Добрый
Серия ««Морские рассказы»»

OCR & SpellCheck: Zmiy (zmiy@inbox.ru), 6 апреля 2002 года
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=136617
К.М.Станюкович. «Морские рассказы»: Издательство
«Художественная литература»; Москва; 1986

Содержание

I	4
II	7
III	10
IV	13
V	17
VI	23
VII	27

Константин Михайлович Станюкович Добрый (Из дальнего прошлого)

Посвящается Е.Д.Синицкому

I

Однажды, в начале декабря 186* года, когда щегольской корвет «Кречет» стоял на двух якорях на большом рейде Батавии, я – тогда юный гардемарин – правил вахтой с полуночи до четырех утра.

Огни были потушены. Вокруг царила тишина.

Капитан и большая часть офицеров были на берегу. Старший офицер, штурман, механик и «батя», как все звали иеромонаха Антония, никуда не съезжавшего с корвета, давно спали в своих душных каютах.

Команда спала на палубе. Отделение вахтенных дремало, примостившись на бухтах снастей и у пушек.

Только бодрствовали двое часовых да шаггал взад и вперед по шканцам вахтенный унтер-офицер.

Не спал и один из вахтенных матросов – Аверьян Шняков.

Это был старший рулевой, серьезный и старательный человек лет под сорок, любивший иногда пофилософствовать на баке и вступавший охотно в беседы с теми офицерами, особенно с молодыми, которые пользовались его расположением за то, что не наказывали линьками, не дрались и не очень ругались.

Прислонившись к борту на шканцах, Шняков тихо мурлыкал под нос какую-то песню. И вдруг, обрывая ее, поднимал голову и вдумчиво смотрел на небо, усеянное брильянтами мигающих звезд, среди которого медленно-величаво поднималась томная и словно бы самодовольная луна.

Она, как говорят моряки, светила во «всю рожу».

Шняков вдыхал полною грудью нежную прохладу южной ночи и, казалось, проникновенно любовался ею.

Действительно, почти безмолвная и таинственная, она была прелестна.

Море едва трепетало рябью, отливавшею серебром, и словно о чем-то ласково шептало. И оно манило бы к себе, если бы по временам не показывалась над водой, совсем близко, отвратительная плоская большая голова каймана с неподвижными глазами.

На такой рейдовой вахте делать решительно нечего.

Я уж налюбовался ночью, до усталости шагал по мостику, мечтая о писательской славе, обошел два раза палубу – убедиться, что часовые не спят, и, прислонившись к поручням,

вдруг почувствовал, что неотразимая и властная дрема сию минуту охватит меня.

«О, как хорошо заснуть!.. Какое наслаждение!.. Но вахтенному офицеру нельзя... Я, конечно, не засну... Я только постою немного».

И в ту же секунду заснул.

Через минуту-другую не то дремы, не то крепкого сна, полного сновидений, я открыл глаза и, сконфуженный, отошел от предательских поручней, спустился с мостика и направился к Шнякову, чтобы в разговоре с ним разогнать сон.

Мы были в отличных отношениях.

Шняков знал, как я уважал его, отличного рулевого и необыкновенно чуткого к правде, и как любил слушать его. И он иногда рассказывал о прежней службе, о разных начальниках, с которыми служил, о правде и неправде. Особенно любил он рассказывать, когда мы вдвоем катались, бывало, на двойке под парусами и когда Шняков деликатно учил своего юнца начальника не одним только управлениям шлюпкой.

В его рассказах чувствовался слегка скептический ум, но не озлобленный после двадцатилетней службы, а словно бы смягченный философией его доброго сердца.

II

– Не спится, Шняков? – тихо спросил я, приблизившись к нему.

Он встрепенулся, точно внезапно оторванный от дум, и повернул ко мне залитое лунным светом простое с крупными чертами лицо, густо заросшее русыми баками, худошавое, крепкое и загорелое, с вдумчивыми и серьезными серыми глазами.

– Ночь, ваше благородие! – еще тише ответил он, словно бы боялся спугнуть чары волшебной ночи.

И прибавил:

– Задумался, гляючи...

– О чем?

– Мало ли о чем, ваше благородие... Уследи-ка...

Шняков примолк и через минуту сказал:

– Хотя бы взять в понятие эти самые места...

– Хорошо!

– А крокодил да акул-рыба кишмя кишат... Вот вам и хорошо, ваше благородие! Опять же и то: надо и таким подлецам кормиться. Господь создал их для разбоя... Живи, мол, разбойничай... Ну и они что ни попало, своя рыба или человек, – все пища, и в пасть... Так ведь крокодил или акул-рыба без всякого понятия живет... На то он гад... Его и остерегайся... И убий... Можно... А ежели ты человек, да хуже

крокодила... От его не убережешься... Прямо лезь в глотку, и шабаш!..

– Да ты разве таких людей знавал? Я только читал...

– То-то доводилось, ваше благородие... Мало ли околачиваюсь на флоте.

И, указывая рукой на рейд, прибавил:

– Вот на этом самом рейде матросики просто в отчаянность пришли... Кажется, наш брат не обидчист и терпелив, и то чуть было не начали вроде как бунтовать...

– И ты в Батавии был?

– Годов десять тому назад, ваше благородие. На клипере, на «Бойце», в дальнюю ходил... Капитаном у нас был Евгений Иванович Двинский... Может, слышали?

Я слышал, что Евгений Иванович Двинский, молодой адмирал, давно занимавший береговое место, был мягкий и очень добрый человек.

– И с таким добрым капитаном вы дошли до отчаянности? – воскликнул я.

– Что и говорить... Уж на что был добер! Не то чтобы наказать линьками или ударить, ругательного слова никому не сказал... Одно слово – вроде быдто ангела был, ваше благородие!

– Так почему же вы хотели бунтовать?

– А потому, что ни с одним, самым что ни на есть злым, командиром не жили мы, как арестанты, с анделом Евгений Ивановичем. Не вызволи нас тогда один матросик, многим бы

пришлось пройти скрозь строй... Небось изволили слышать, какие были наши права при императоре Николае Павловиче, да ежели еще за быдто как за бунт, за то, что дошли до отчаянности и хотели просить отдышки... Небось на «Кречете» никто не подумает бунтовать! – прибавил Шняков.

Нечего и говорить, как я был изумлен в эту ночную вахту в Батавии.

– Расскажи, голубчик, про все... все... Это что-то непонятное... Порядочный и добрый командир и... вдруг... Да как же это могло случиться? – спрашивал я, взволнованный и недоумевающий.

– Что ж... Извольте слушать... Я вам обскажу про доброго командира, ваше благородие. Всяких видал, но только другого, как Двинский, не видал. Разве на сухой пути доведется услышать про такого андела! – проговорил, усмехнувшись, Шняков и прибавил: – Сбегать на бак... Выкурю трубочку и обернусь.

– Только, пожалуйста, поскорей, Шняков.

– Живо накурюсь, ваше благородие.

Через минуты две, которые показались мне бесконечными, Шняков вернулся на шканцы той быстрой походкой, какой обыкновенно ходят матросы на судах, прислонился к борту, взглянул на падающую звезду и среди тишины чудной ночи пониженным приятным голосом заговорил.

III

– Вот вы дивитесь, ваше благородие. А мы на «Бойце» спервоначалу вовсе в ошаление пришли, словно тебя ежели да нежданно огорошили по башке марса-фалом! Да как же это, господи? Евген Иваныч Двинский, командир, мол, добрый и жалостливый, сам по своим правам на вверенном ему судне вроде как царь, и у его на клипере с людьми зверствовали и до того начали вгонять в тоску, что и не обсказать... Небось ошалеешь и потом захочешь войти в понятие насчет такой обидной нашей тоски, ежели на баке с людей стали снимать шкуры... И вскорости поняли, ваше благородие, какая капитанская доброта...

– Какая?

– Никчемная, прямо сказать, здряная! – убежденно и взволнованно промолвил матрос, слегка поднимая голос.

И после паузы продолжал:

– И нет хуже такой доброты для матросов. Я так полагаю по своему рассудку, ваше благородие. Только напрасно она обнадеживает матроса и пуще его обескураживает... Веру в доброго человека смущает и вводит в большую тоску... По крайности видишь: командир вроде бешеной собаки, и знаешь. А ведь голубь, форменный голубь, а тебя обанкрутил хуже, чем коршун... А все: голубь... И сам себя почитает голубем... И господа на «Бойце»: голубь да голубь... А как

мы обрадовались, как увидали Двинского... Богу молились. Вот, мол, бог нам дал на редкость доброго командира... Приехал на клипер – такой смиренный, приветный и с нами обходительный... А из себя высокий и аккуратный, вовсе чернявый, этак лет тридцати с небольшим, лицо белое, чистое и черные глаза добрые-предобрые... Вот небось этот подлец и дитю не обнадежит глазами! – прибавил чуть слышно Шняков и кивнул головой на воду.

В нескольких шагах от корвета плыл кайман.

Через минуту он нырнул, и матрос продолжал:

– А флотской части не знал – сразу видно было. Допресть он все в адъютантах по штабам околачивался и в плаванья почти не ходил. А назначили его командиром, сказывали, из-за отца... адмирал в силе находился, там отпору ему не было. Хорошо. И думали, ваше благородие, что командир помаленьку к должности своей приобькнет, а нашему брату лестно... Кроткий... Небось слышал, баринок, какая тогда была флотская служба и на каких правах состоял матрос? Так, изволите понять, ежели голодному – и вдруг пища! Вовсе обескураженному матросу – и новый оборот жизни! Встал без страха и лег спать не избитый и не драный. И был я, ваше благородие, в таких обнадеженных мыслях, что душа разыграла... Радуюсь. Нас, мол, бесправных, бог вспомнил... А надо вам обсказать, ваше благородие, что до того я два года ходил марсовым на «Костенкине» корабле с командиром Обуховым... Может, слышали? В прошлом году его увольни-

ли. Не срами, мол, флота и получай пенсион. Небось и без живодерства матрос не оконфузит.

– Слышал про Обухова... Говорят, был жестокий.

– То-то. Бык и есть. Так и звали его в Кронштадте, потому никакого в нем божьего рассудка, а вроде бычьего. Всего и отпущено ему было от господ бога. И когда он не находился в понятии и сидел в каюте и марсалился – ничего себе, бык как бык, и вестовой очень даже обожал его. А ежели да ему войдет что в башку, то хотя на ней кол тещи. Выкатит глаза, мотает головой и орет: «Чтобы по всей букве закона наказать!» Упрется и одно мычит: «Наказать по всей строгости закона». И хотя бы за пустячную провинность он, по бычьему своему разуму, по закону запарывал. «Я, мол, ничего другого понимать не желаю». И только как это, ваше благородие, в прежние времена давали таким, прямо сказать, остолопам волю над матросами? Просто даже никак не поймешь. Теперь, как царь наш Александр Николаич приказал, в каком виде надо понимать матроса, небось мы вздохнули. Вроде как людьми стали, ваше благородие. А тогда?..

Шняков только вздохнул и примолк.

IV

– Таким манером освободился я от Обухова и попал на «Боец»... к доброму капитану... в полной надежде на отдышку, и вместо того... нам вроде крышки...

– Да как же? – спросил я.

– А так же, ваше благородие. Из-за старшего офицера Перкушина. Очень даже бесстыжий и жестокий был человек, не тем будь помянут, покойник. Он-то и был настоящим командиром и разбойником. Над всем волю забрал.

– А Двинский?

– Только хлопал добрыми глазами. И как вышли мы из Кронштадта, обозначилось, что наш Евген Иваныч вовсе не понимал службы и большого рассудка не имел и без всякого мужчинского характера... Перкушин словно заморозил капитана, и весь Евген Иваныч с его добротой был у старшего офицера в полном повиновении, а быдто со своей амбицией. Шельмоватый и прельстивый был Перкушин. Вел свою линию. «Как, мол, прикажете?» А приказывал-то все он. И дока по флотской части был. И, надо правду сказать, отчаянный и ничего не боялся, ежели, бывало, заштормует. Умел управиться и не сойдет с мостика, как в шторму наш маленький клиперок бедует и зарывается в волнах. Подлый был человек, а во всей форме молодчага – распорядился. С им и страха не было.

– А капитан что?

– Тоже для видимости стоял наверху и, однако, не мешался. И на ночь Перкушин всегда, бывало, в бурю капитана упрашивал отдохнуть. Я, мол, все ваши распоряжения сполню. А какие распоряжения? Раньше и плавал Евгений Иванович на яхтах, между Петербургом и Кронштадтом. Без старшего офицера он ни боже ни. И хотел бы, да не смеет. Только почет да что добрый. И сам, сказывали, не хотел срамиться, идти в капитаны, так отец принудил: «Карьер, говорит, сделаешь, а мы, говорит, выберем старшего офицера, собаку по морской части, он, говорит, твой клипер в лучшем виде будет держать и тебя не обанкрутит. Он с большим понятием помощник тебе будет, и ты его во всем слушай». И Перкушину тоже адмирал: «Так, мол, и так. Берегите сына и будьте ему настоящим помощником... Одним словом. А как благополучно вернетесь, говорит, не в пример выйдет награждение». Старший офицер сам опосля рассказывал левизору об этом, и вестовой сказывал на баке. Таким манером Перкушин и стал гнать свою линию, чтобы отличиться. Еще когда стояли в Кронштадте, готовились, хоть и строг был, а не оказывал всей своей подлости, но как ушли, по всей форме начал вгонять в тоску. Донимал учениями и требовал, чтобы матрос вроде как облизьяна летал по вантам и чтобы на секунду не смел опоздать с парусами или на другой какой работе. И вовсе как на скота смотрел на нашего брата. За каждую малость приказывал на бак и сам смотрел, как людей в линь-

ки принимали. И сигарку курит да еще посмеивается. Вовсе без пыла, а с подлым, жестоким расчетом, спокойно изводил людей и без крика. И ругался мало. И не очень дрался, воздерживался, особенно при капитане. Но зато выучивал, ваше благородие, на баке... И такой страх навел, что матросы вроде как арестанты...

– Да как же капитан не знал, как старший офицер обращается? – спросил я.

– То-то не знал, ваше благородие. Порка шла обязательно в четыре часа утра, когда капитан спал.

– А пожаловаться?

– Не смели сперва дойти до капитана. Перкушин застрашивал. Только, мол, пикни. И при капитане он был с матросами ровно лиса... Вовсе обманной был человек. И настраивал при случае Евгена Иваныча против команды. Они, мол, бесчувственные, грубые и пьяницы. С ими, мол, трудно добром. Для пользы службы и для порядка военного судна нужна строгость. Капитанский вестовой, Лаврюшка, обсказывал нам, как настраивал капитана Перкушин.

– А капитан что?

– Известно что: очень жалел, что ежели нужна строгость, но приказывал, чтобы никаких утеснений не было и не наказывали без жалости линьками. Перкушин обнадежил, что он взыскивает с рассудком и, мол, от намерений капитана по долгу службы отступить не может. Одним словом, объегоривал капитана... С им и левизор и механик – вроде шайки бы-

ла... Перкушин вводил в тоску, а те двое «обуродовали» по угольной части, а уж левизор один по своей части прямо-таки грабил. И харч нам недобросовестный давал... А капитан все подписывал, что они ни дадут... Верь не верь, а подписывай, коли по должности своей не понимаешь... Таким манером вовсе обанкрутила доброго-то капитана шайка. Врут ему как сивые мерины и, как следует, в глаза оказывают во всей форме уважение. И со стороны-то всем видно, а капитан будто ничего не замечает. Одно слово, оболванивают да еще про себя тишком над капитаном смеются. Вестовые слышат. А раз на берегу в Риве (Рио-Жанейро) выпивший левизор – башковат был брехать капитану насчет будто бы дешевой покупки всякого припаса – при мне кричал товарищу: «Я, говорит, что вгодно, то и делаю по своей части... Какие счета подам... Только спросит: „Верно?“ – „Обязательно верно...“ И, не читая, подмахнет... Очень добрый Евген Иваныч... Ровно дите!» Кричит, заливается... Дескать, как сподручно матроса обкрадывать. Господам-то смешно, а нам не до смеха было, ваше благородие! Во всех смыслах с им была тоска... Кровные наши денежки и то левизор зажиливал. Иди-ка на разбойников искать правды к нашему доброму!.. Однако надо передохнуть, ваше благородие.

V

– Прошло около года. Переходы мы делали не очень большие. Перкушин любил закатывать на берег, и потому мы заходили во многие порты и в хороших стояли на якоре подольше. И как Перкушин на неделю съезжал на берег, у нас был словно праздник. Первый лейтенант, исправлявший должность старшего офицера за Перкушина, ни учениями не допекал, не наказывал людей... Правильный и по-настоящему добрый человек был. Понимал матроса и не считал его быдто тварью. Бывало, и слово приветливое скажет, и матрос чувствовал, что им не брезгует. И по морской части дошлый... И мы, ваше благородие, без всякого страха, а только чтоб первого лейтенанта не оконфузить, просто из кожи лезли вон и на фок-мачте, которой заведовал, и на вахтах, когда он стоял, и ученья, когда за старшего офицера делал не до измора, а много-много полчаса, а то час... «Вот, мол, какого бы нам старшего офицера!» – толковали мы, бывало, промежду себя на баке. Тогда и капитан взаправду был бы добрый!.. И был у нас, ваше благородие, один молодой матросик, Василий Кошкин, вместе со мной на фор-марсе работал... Лучший был марсовой и отчаянный в работе. И смиренный, робкий был человек, вовсе безответный по терпеливости, а очень щекотливый к неправде. И, бывало, заговорит со мной, как жестоко изводит Перкушин людей, чуть не плачет.

Большой жалостливости была его душа, ваше благородие, за людей. Главное – других жалел, самого его редко пороли, да и с рассудком, потому очень уж он боялся Перкушина и даже разбойнику трудно было придрататься к такому старательному и отчаянному матросу... Вскорости перестал со мной говорить о старшем офицере и вовсе в задумчивость впал и затосковал... и под конец стал ожесточаться сердцем... Вдребезги напивался на берегу и, робкий, как-то ответил Перкушину. Тот только ахнул и на другое утро отодрал как Сидорову козу. В большую тоску вошел Кошкин... И шли мы из Ривы (Рио-Жанейро) на Надежный мыс (мыс Доброй Надежды), пришел перед вечером Василий на бак, вошел в круг около кадки с водой, закурил трубку и, сам бледный, сказал: «А так, братцы, никак невозможно! Дойдем, говорит, до капитана... Доложим, какой есть Перкушин! Капитан вовсе добер. Но только он не знает Перкушина... Доложим! Капитан, как узнает, ахнет. Увольнит, говорит, старшего офицера и назначит Алексея Николаича, первого лейтенанта, и всем нам, говорит, будет избавление». Удивились, как это смело обсказал наш смиренный. Молчим. И забрало нас, и страшно, что после будет от Перкушина. Старые матросы стали говорить, что как бы еще хуже не вышло. А боцман прикрикнул: «Ты, говорит, чуть не первогодок, а учить старых матросов! Терпели, будем еще терпеть. Бог даст и отойдет Кобчик!» Перкушину и было прозвание «Кобчик». Он был маленький, крепкий, и нос загнутый, как у птицы, и глаза пронзитель-

ные и круглые, как у кобчика... А Кошкин свое. И еще забористей, и сам чуть не плачет... И объявил, что он будет докладывать капитану про Перкушина. Пусть только выстроит боцман во фронт... И нас, ваше благородие, прорвало... Откуда и страх пропал. А капитан вышел наверх и ласково так поглядывает. «Во фронт!» – начал Кошкин. За им несколько голосов. А там все больше да громче. Видит боцман, что команда вошла в чувство, и сам в тоске из-за Перкушина. Тоже не отстал от своего же брата. «Ну и будет, черти, нам всем шлифовка», – сердито проговорил он и просвистал: «Всех наверх!» Через секунду команда стояла во фрунте. Кобчик выскочил обозленный. «Это бунт, Евгений Иванович! Не извольте к этим подлецам выходить! Позвольте, говорит, я с ими объяснюсь, как они смели самовольно во фронт собраться. Это форменный бунт!»

– И что ж капитан? – невольно вырвалось у меня.

– Не послушался Кобчика. Сердце-то подсказало, что бунта нет, а одна, можно сказать, просьба. «Оставьте учить меня!» – вдруг окрикнул капитан и весь покраснел, и тут же будто испугался прыти. Однако прямо к нам: сконфуженный, ласковый, глаза добрые-предобрые и растерянные, быдто в удивлении, что команда собралась в унынии. И доложу вам, ваше благородие, и досадно, и жалко мне было глядеть на капитана. За свою же доброту приходилось ему за других перед матросами стоять в растерянности и оконфузливости. Помолчал так секунд-другой, поглядел на нас ласково и

быдто жалеючи и приветливо тихим голосом поздоровался: «Здорово, братцы!» Ответили дружно и громко: «Здравия желаем, вашескородие!» Дескать, не против тебя мы осмелились. И капитан еще ласковой спросил: «По какой причине вы, братцы, собрались?» – «До вашескородия осмелилась дойти команда!» – доложил с правого фланга боцман. «Говори, боцман, в чем дело». И тогда вышел перед фрунт Кошкин, бледный как рубаха. «Дозвольте доложить, вашескородие?» – «Говори, Кошкин, не бойся, голубчик!» И Кошкин начал обсказывать... И чем дальше, тем больше приходил в взволнованность, как докладывал, в какой тоске матросы за притеснение и какая каждое утро на баке расправка... И вместе с Кошкиным все более и более краснел и капитан и приходил в расстройку и в тоску, и добрые глаза стали такие придумчивые и печальные...

И попросил Кошкин расследовать, по правде ли все он осмелился доложить командиру. «Если, говорит, не правда, засудите меня, вашескородие, а если я по чистой совести обсказал, защитите людей, вашескородие!» И замолчал. И матросы молчали. А боцман Никитич вовсе насупился, нахмурил брови и вдруг сказал: «Осмелюсь доложить вашескородию, что Кошкин смирный и примерный матрос по поведению и по службе и ни слова неправды не обсказал вашескородию». Молчал и поник головою капитан... И на палубе словно замерло. Такая вдруг стала тишина. Наконец Евгений Иванович поднял голову и, весь быдто взбунтовавшись,

покраснел и гордо так сказал, что сам разберет дело и матросов ни в жисть не даст в обиду. «Больше, говорит, братцы, нещадности не будет». А Кошкина ласково приспокоил: «Спасибо, матросик, что объявил от полного своего сердца претензию. И не тоскуй, и не бойся. Тебе ничего не будет, и не будет никому взыску, что дошли до меня не по форме. Впредь сам буду по воскресеньям опрашивать... Расходись, молодцы!» – «Рады стараться, вашескородие! Чувствуем!» – в благодарной радости крикнули ребята. С этим капитан раздумчиво так пошел в свою каюту, и тую ж минуту следом пошел за ним и старший офицер, из себя побледневший. А форц прежний. Не понравился мне этот форц. Думаю: как бы он какой загвоздки не придумал, чтоб оправдать себя перед капитаном. Однако разошлись обнадеженные. Особенно радовался Кошкин. «Теперь, говорит, братцы, беспременно полный оборот нам будет. Капитан все узнал... По глазам видно, что не догадывался, как старший офицер живодерничал и как левизор кормил. Он защитит». И все хвалили теперь Кошкина, что придумал дойти до капитана и постоял за команду и так жалостливо обсказывал... И боцман Никитич похвалил за то, что Кошкин душу взбаламутил. А какой конец по капитанской лезорюции будет, боцман сомневался... Как, мол, Кобчик обкружит голубя и одурманит его.

– Что же вышло, Шняков?

– А вот доскажу. Только прежде надо покурить, ваше благородие.

И Шняков пошел на бак. А я снова обошел палубу. Сна уже давно не было, и ночная вахта проходила необыкновенно скоро. Уже пробило четыре склянки (два часа ночи).

VI

– В первое время Кобчик притих. Пороть порол, но без живодерства. Однако и к боцману и в особенности к Кошкину стал придирааться – прямо-таки невзлюбил. И с капитаном во время первого же разговора была расстройка. Вестовой Лаврюшка и слышал, как старший офицер вломился в амбицию и пригрозил, что спишется по болезни с клипера на берег и возвратится в Россию. Матросы, мол, самовольно стали во фронт и облыжно показали на своего начальника, а капитан вместо взыска их же обнадежил бунтовать. И стал обсказывать, что наказывал матросов в своем праве и без жестокости... И до того сбил капитана, что расстроил его. И стал он и перед ним быдто извиняться и просить не уходить, но только чтобы Перкушин не вводил матросов в тоску, чтобы все было по-хорошему и матросы не жаловались. Кобчик обещал не вводить капитана в расстройку и просил только не очень-то верить матросам по своему доброму сердцу. Из-за этого, мол, они и стали полагать о себе. Вот Кобчик какую линию подвел, ваше благородие. И левизор приходил объясняться насчет харча. Правым остался. Верно, говорит, что одна бочка солонины скверная попалась, так ее прикажет немедленно выбросить за борт. Одно слово – обанкрутили Евген Иваныча. И он спрашивал раз насчет претензии, а потом уж перестал. И старший офицер на мысе Надежном и не

думал списаться с клипера. И как вышли мы с Надежного, Кобчик опять по-старому стал зверствовать. И первым же делом боцмана разжаловал и дал двести линьков и Кошкина отшлиховал до отчаянности. И обоим сказал: «Попробуй-ка оба бунтовать, ты строить во фронт, а ты, подлец, облыжно жаловаться».

И разжалованный боцман, как его отпорол, сказал на баке: «Вот и капитанская лезорюция! Вот доходили до капитана». А Кошкин еще хуже затосковал. И капитан быдто не видит ничего. Однако вестовой сказывал – загрустил... Чует, что слово не сдержал, и не знает, как ему быть... А боцманом Кобчик сделал неверного унтер-офицера... Все передавал про команду старшему офицеру и вовсе вроде Иуды был. И дрался вовсю. Последнюю совесть в себе уничтожил... И решили на берегу избить до полусмерти Иуду боцмана. Прочитать... Но когда еще берег, а пока вовсе обезнадежили, и никакой веры на защиту капитана не осталось... Дойди до его – еще хуже. И совсем покорились... Живем в страхе. И быдто в арестантских домах. А матросик Кошкин хуже затосковал и мучился совестью, что из-за его выдумки вместо избавления... еще товарищей подвел... И вовсе угрюмистый стал. И покорно терпел наказания Кобчика и бой боцмана Иуды... И ожесточился... Вот до чего довели, ваше благородие, тихого и смиренного человека, ежели только и его сердце мучится по правде. Шли мы таким манером до Батавы... И перед самым приходом, в пятом часу утра, одного шуплого

матроса Кобчик отпорол до бесчувствия, и его снесли в лазарет. Стали мы на рейд. Вышли вскорости к подъему флага. Ждем, как примет командир лепорт доктора о больном по случаю жестокой порки, однако капитан и после лепорта веселый, что поедет, мол, на берег. И фельдшер нам объяснил, что доктор не доложил о больном. Кобчик его упросил. Очень обиделись матросы, ваше благородие. И так ненавиден нам был Кобчик, что хоть скрозь строй бы прогнали... Однако боимся его... Молчим... Только про себя тишком говорим: «Что ж это, братцы, в чихотку будет Кобчик вгонять, и капитан его держит в полном доверии и ничего не знает». И берегу не радуемся, не смотрим на радостное утро. Кому оно на радость, а нам в тоску... А на мостике и капитан и многие другие офицера весело разговаривают, точно человек не в лазарете еле дышит... «Где ж, мол, правда?» Это я про себя думаю, и сердце бунтует, ваше благородие... Бунтует, и зло берет... Около меня Кошкин... Лица на ем нет... Глаза ввалимшись и как уголья... И я ему: «Давай, Вась, соберем матросов и во фрунт... Дойдем до капитана... Пусть пойдет в лазарет и увидит... Пусть освобонит нас от Кобчика!» А Кошкин: «Не надо... Лучше, говорит, одному принять скрозь строй, чем всем. Небось братцы добром вспомнят!» – «Да ты что надумал, Вась?» Я сразу понял по его глазам, что Кошкин надумал. Ни слова не сказал и уже пошел прямо к мостику, поднялся и, сняв шапку, остановился перед капитаном. Матросы так и ахнули... Ахнули и офице-

ры... Удивился и капитан. Однако сконфузился и с укором взглянул на Кобчика. Все замерли на палубе.

Взволнованный Шняков на секунду примолк.

VII

– Только голос дрожал, когда матросик доложил капитану: «Извольте, мол, заглянуть, вашескорodie, в лазарет, как запорол утром человека старший офицер. И с той поры, как вашескорodie обещали разобрать мою жалобу, старший офицер несколько ден притих и после стал еще более теснить людей... Вы, мол, обещали, что нам ничего не будет за претензию, а старший офицер и меня, и прежнего боцмана нещадно наказал и сказал, что за то, что дошли до командира. И с тех пор зря меня наказывал». – «Молчать! Как ты смеешь так говорить с капитаном!» – вдруг крикнул Кобчик. Ну, тут капитан осердился. «Молчите вы!» – велел он. И сказал Кошкину «Говори!» Кобчик тую ж минуту вниз... Не пожелал слушать. «Больше нечего говорить, вашескорodie. Только освобоните людей от старшего офицера. Не доведите команду до отчаянности... А меня извольте наказать, вашескорodie, за то, что осмелился самовольно объяснить насчет старшего офицера!» Капитан только махнул головой и побежал в лазарет. И фершал сказывал, что капитан очень огорчился, когда увидал больного. И спросил фершала: попадали в лазарет такие больные? Фершал доложил, что бывали. И тогда капитан обнадежил больного и сам закрыл руками глаза. Верно, слезы хотел скрыть... Сердце-то доброе и жалостливое... И увидал наконец, как окрутили его старший офицер и другие.

Простоял он так с минуту и сказал доктору с тоской и укором: «И вы, доктор, вместе с другими меня обманывали?» И ушел в каюту. Так и не уехал на берег в тот день и все ходил в задумчивости по каюте. И не допускал к себе старшего офицера. А к вечеру уже послал за первым лейтенантом Алексеем Николаичем и велел быть ему старшим офицером, а Перкушину на его рапорте о болезни надписал: «По болезни можете вернуться в Россию и сегодня же уехать на берег». А мы прослышали и все еще не верим. Думаем: допустит к себе старшего офицера, и опять он останется. Однако, видно, сам этого боялся. Так и не допустил Перкушина. И Кобчик стал собираться и громко в кают-компании ругал капитана. И, как вечер, со всеми вещами уехал с клипера. Матросы крестились. И с той же минуты мы вздохнули с Алексеем Николаичем. И, должно быть, Алексей Николаич посоветовал – вскорости сменили левизора. Не осмелся Кошкин пойти сквозь строй за команду, не избавились бы мы от Кобчика. До чего бы он нас довел, господь знает... Матросик нас вызволил из-за щекотливого к правде сердца. Вот оно что делает, смелое сердце, ваше благородие! – заключил Шняков.

– А Кошкину ничего не было?

– Ничего, ваше благородие.

– И больше никогда не доходили на «Бойце» до командира?

– После Батавы оборот пошел. За что же доходить? За хорошее?

Оба мы молча глядели на чудное звездное небо.

И вдруг раздался окрик часового:

– Кто гребет?

– Офицер!

Я скомандовал фалгребных и пошел к трапу встречать возвращавшихся с берега капитана и офицеров.